

Джон Голсуорси

Цвет яблони

*«Цвет яблони и
золото весны...»*

**Еврипид,
«Ипполит».**

В день своей серебряной свадьбы Эшерст с женой поехали на автомобиле поросшей вереском долиной, собираясь переночевать в Торки, где они встретились впервые. Этот план принадлежал Стелле Эшерст, всегда немного склонной к сентиментальности. Она давно уже утратила ту нежную синеглазую прелесть, ту свежесть красок, напоминавшую цвет яблони, ту чистую линию строгой и стройной девичьей фигурки, что так внезапно и странно околдовали Эшерста двадцать шесть лет тому назад. Но и в сорок три года она оставалась привлекательной и милой спутницей жизни с чуть поблекшим румянцем и серо-голубыми глазами, ставшими глубже и вдумчивей.

Она сама остановила машину у поворота. Шоссе круто подымалось влево, а небольшой перелесок, где среди лиственниц и буков темнели сосенки, спускалось к долине, у подножия высокой гряды холмов, за которыми шла вересковая

пустошь. Стелла искала места, где можно было бы позавтракать, Эшерст никогда ни о чем не заботился — и это место, среди золотого боярышника и пушистой зелени лиственниц, пахнувших лимоном под нежарким апрельским солнцем, место, откуда открывался вид на широкую долину и на длинную гряду холмов, очень понравилось Стелле, писавшей акварелью этюды с природы и любившей романтические уголки. Захватив свои краски, она вышла из автомобиля.

— Здесь хорошо, правда, Фрэнк?

Высокий, длинноногий, похожий на бородатого Шиллера, с поседевшими висками и большими задумчивыми серыми глазами, которые иногда становились особенно выразительными и почти прекрасными, с чуть асимметричным носом и слегка приоткрытыми губами, Эшерст — сорокавосемилетний молчаливый человек взял корзинку и тоже вышел из машины.

— О Фрэнк, смотри: могила!

У перекрестка, где тропинка пересекала шоссе под прямым углом и убегала через изгородь дальше, к опушке рощицы, виднелся холмик футов в шесть длиной и в фут шириной, с большим замшелым камнем. Кто-то бросил на камень ветку шиповника и пучок синих колокольчиков. Эшерст взглянул на могилу, и поэтическая струна дрогнула в его душе. На перекрестке... могила

самоубийцы... Бедные смертные: сколько у них предрассудков! Но тому, кого похоронили, — не лучше ли ему лежать здесь, где нет рядом безобразных памятников, исписанных напыщенными пустыми словами, а только простой камень, широкое небо да участливая жалость прохожих...

В лоне семьи Эшерста не особенно поощряли философствования, поэтому он ничего не сказал про могилу и, вернувшись к шоссе, поставил у каменной изгороди корзинку с завтраком, разостлал плед для жены — она должна была вернуться со своих этюдов, когда проголодается, — а сам вынул из кармана «Ипполита» в переводе Мэррея. Он прочел о Киприде и злой ее мести и задумчиво уставился в небо. И в этот день, день его серебряной свадьбы, от бега белых облаков в чистой синеве Эшерста вдруг охватила тоска, он и сам не знал о чем. Как мало приспособлен к жизни человеческий организм! Какой бы полной и значительной жизнь ни была, всегда остается какая-то неудовлетворенность, какая-то подсознательная жадность, ощущение уходящего времени. Бывает ли такое чувство у женщин? Кто знает? И все же люди, которые вечно рвались к новизне в ненасытной жажде новых приключений, новых дерзаний, новых страстей, — такие люди, несомненно, страдали от чувства,

противоположного неудовлетворенности, — от пресыщения.

Да, от этого не уйдешь. Какое все-таки плохо приспособленное к жизни животное — цивилизованный человек! Для него не существует блаженного успокоения в прекрасном саду, где «цвет яблони и золото весны», как поет дивный греческий хор в «Ипполите», нет в жизни достижимого блаженства, тихой гавани счастья, — ничего, что могло бы соперничать с красотой, плененной в произведениях искусства, красотой вечной и неизменной. И читать о ней, смотреть на нее — значит испытывать ни с чем не сравнимый восторг, счастливое опьянение... Правда, и в жизни бывают проблески той же нежданной и упоительной красоты, но они исчезают быстрее, чем мимолетное облако, скользнувшее по солнцу. И невозможно удержать их, как удерживает красоту высокое искусство. Они исчезают подобно золотым, сверкающим видениям, что всплывают в сознании человека, погруженного в созерцание природы, проникающего в сокровенные ее недра. И сейчас, когда солнце горячо прильнуло к его лицу и зов кукушки звенел из зарослей боярышника, когда медвяный воздух колыхался над молодой зеленью папоротника и звездочками терновника, а высоко над холмами и сонными долами плыли светлые облака, Эшерсту казалось, что близко полное

познание природы. Но он знал: это ощущение исчезнет, как лик Пана, выглянувшего из-за скалы, исчезает при виде человека.

Вдруг Эшерст привстал. Необычайно знакомым показался ему весь пейзаж длинная лента дороги, старая каменная ограда, узкая тропа. Он ничего не заметил, когда они проезжали, — совершенно ничего, он думал совсем о другом, или, вернее, ни о чем не думал. Но сейчас он вспомнил все. Двадцать шесть лет тому назад, в такой же весенний день, он ушел по этой самой дороге с фермы, лежавшей в полумиле отсюда, ушел в Торки и никогда больше не возвращался. И вдруг острая боль сжала его сердце: он вспомнил нечаянно о той минуте в прошлом, когда он не сумел удержать настоящую красоту и радость, ускользнувшую от него в неизвестное. Нечаянно он воскресил угасшее воспоминание о сладком, диком счастье, оборванном так быстро и неожиданно. Он лег в траву и, подперев голову руками, стал разглядывать молодые стебельки, среди которых цвел голубой ленок. Вот что вспомнилось ему.

1

Первого мая Фрэнк Эшерст и его друг Роберт Гартон, только что окончившие университет, были в пути. Они совершали большую прогулку и в этот

день вышли из Брента, собираясь дойти до Шегфорда. Но колено Эшерста, поврежденное во время игры в футбол, давало о себе знать, а судя по карте ям оставалось идти еще около семи миль. У дороги, где тропа углублялась в лес, они присели, чтобы дать отдохнуть больной ноге Эшерста, и стали обсуждать мировые вопросы, как это всегда делают молодые люди. Оба были ростом в шесть футов с лишним и худые, как жерди; Эшерст — бледный, мечтательный, рассеянный; Гартон — диковатый, порывистый, курчавый и мускулистый, как первобытный зверь. Оба питали склонность к литературе, оба ходили без шапок. Светлые, мягкие и волнистые волосы Эшерста вились вокруг лба, как будто их все время откидывали, а темные непокорные кудри Гартона походили на гриву. На много миль кругом они не встретили ни души.

— Дорогой мой, — говорил Гартон, — жалость — просто следствие копания в себе. Это болезнь последних пяти тысяч лет. Мир был гораздо счастливее, когда не знал жалости.

Эшерст задумчиво следил за облаками.

— Но, во всяком случае, жалость — жемчужина мира.

— Нет, мой друг, все наши современные несчастья происходят от жалости. Возьми, к примеру, животных или краснокожих индейцев, их волнуют только собственные беды, а мы вечно

мучаемся от чужой зубной боли. Давай перестанем жалеть других, и мы будем куда счастливей.

— Ты сам на это не способен.

Гартон задумчиво взъерошил свою густую шевелюру.

— Кто хочет познать жизнь по-настоящему, тот не должен быть слишком щепетильным. Морить голодом свое эмоциональное «я» — ошибка. Всякая эмоция только обогащает жизнь.

— Да? А если она противоречит чести?

— О, как это характерно для англичанина! Когда заговариваешь об эмоциях, о чувстве, англичане всегда подозревают, что речь идет о физической чувственности, и это их страшно шокирует. Они боятся страсти, но не сладострастия, — о нет! Лишь бы все удалось скрыть.

Эшерст ничего не ответил. Он сорвал голубенький цветок и стал сравнивать его с небом. Кукушка закуковала в зеленой гуще ветвей. Небо, цветы, птичьи голоса... Роберт говорит вздор.

— Пойдем поищем какую-нибудь ферму, где мы могли бы переночевать, сказал Эшерст и в эту минуту заметил девушку, шедшую в их сторону. Четко вырисовывалась она на синем небе, под согнутой в локте рукой — она несла корзинку — тоже виднелся кусочек неба. И Эшерст, невольно и бескорыстно отмечавший все прекрасное, сразу

подумал: «Как красиво» Ветер вздувал ее темную шерстяную юбку и трепал синий берет. Ее серая блуза была изношена, башмаки потрескались, маленькие руки огрубели и покраснели, а шея сильно загорела. Темные волосы в беспорядке падали на высокий лоб, подбородок мягко закруглялся, короткая верхняя губка открывала белые зубы. Ресницы у нее были густые и темные, а тонкие брови почти сходились над правильным, прямым носом. Но настоящим чудом казались ее серые глаза, влажные и ясные, как будто впервые открывшиеся в этот день. Она глядела на Эшерста: ее, вероятно, поразил странный хромой человек без шляпы, с откинутыми назад волосами, уставившийся на нее своими огромными глазами. Он не мог снять шляпы, ибо на нем ее не было, а просто поднял руку в знак приветствия и сказал:

— Не укажете ли вы нам поблизости какую-нибудь ферму, где бы мы могли переночевать? У меня разболелась нога.

— Здесь неподалеку только наша ферма, сэр, — проговорила она без смущения приятным, очень нежным и звонким голосом.

— А где это?

— Вон там дальше, сэр,

— Не приютите ли вы нас на ночь?

— Да, я думаю, можно будет.

— Вы нам покажете дорогу?

— Да, сэр.

Эшерст молча захромал вслед за ней, а Гартон продолжал расспросы:

— Вы уроженка Девоншира?

— Нет, сэр.

— А откуда же вы?

— Из Уэльса.

— Ага! Я так и думал, что в вас кельтская кровь. Значит, это не ваша ферма?

— Нет, она принадлежит моей тетке, сэр.

— И вашему дяде?

— Он умер.

— А кто же там живет?

— Моя тетка и три двоюродных брата.

— Но дядя ваш был из Девоншира?

— Да, сэр.

— Вы давно здесь живете?

— Семь лет.

— А вам здесь нравится больше, чем в Уэльсе?

— Н-не знаю, сэр.

— Вы, верно, плохо помните те края!

— О нет! Но там как-то все по-другому.

— Охотно верю.

Эшерст вдруг спросил:

— Сколько вам лет?

— Семнадцать, сэр.

— А как вас зовут?

— Мигэн Дэвид, сэр.

— Это — Роберт Гартон, а я — Фрэнк Эшерст. Мы хотим попасть в Шегфорд.

— Как жаль, что у вас болит нога!

Эшерст улыбнулся, а когда он улыбался, его лицо становилось почти прекрасным.

За небольшой рощицей сразу открылась ферма — длинное низкое каменное здание с широкими окнами и большим двором, где копошились куры, свиньи и паслась старая кобыла. Небольшой зеленый холм за домом порос редким сосняком, а старый фруктовый сад, где яблони только что стали распускаться, тянулся до ручья и переходил в большой запущенный луг. Мальчуган с темными раскосыми глазами тащил свинью, а из дверей навстречу незнакомцам вышла женщина.

— Это миссис Наракомб, моя тетушка, — проговорила девушка.

Быстрые темные глаза «тетушки» и ее длинная шея придавали ей странное сходство с дикой уткой.

— Мы встретили вашу племянницу на дороге, — обратился к ней Эшерст. Она сказала, что вы нас, может быть, приютите на ночь.

Миссис Наракомб оглядела их с ног до головы.

— Пожалуй, если вы удовольствуетесь одной комнатой. Мигэн, приготовь гостевую комнату да

подай кувшин сливок. Наверно, вам захочется чаю.

Девушка вбежала в дом через крыльцо, у которого росли два тиса и кусты цветущей смородины. Ее синий берет весело мелькнул в темной зелени среди розовых цветов.

— Войдите в комнаты, отдохните, — пригласила хозяйка. — Вы, наверно, из университета?

— Да, были в университете, недавно окончили.

Миссис Наракомб с понимающим видом кивнула головой.

В парадной комнате было так невероятно чисто, кирпичный пол, полированные стулья у пустого стола и большой жесткий диван так блестели, что казалось, здесь никогда никто не бывал. Эшерст сразу уселся на диван, обхватив большое колено руками, а миссис Наракомб стала пристально его разглядывать. Он был единственным сыном скромного преподавателя химии, но людям он казался высокомерным, быть может, потому, что мало обращал на них внимания.

— А где здесь можно выкупаться?

— Есть у нас за садом ручеек, только если даже стать на колени — и то с головой не окунешься.

— А какая глубина?

— Да так — фута полтора, пожалуй, будет.

— Ну и чудесно, вполне достаточно. Как туда пройти?

— Прямо по дорожке, а потом через вторую калитку направо. Там, около большой яблони, которая стоит отдельно, есть маленький затон. В нем даже форели водятся, может, вы их спугнете.

— Скорее они нас спугнут.

Миссис Нараконб улыбнулась.

— Когда вернетесь, чай будет готов.

В затоне, образованном выступом скалы, было чудесное песчаное дно. Большая яблоня росла так близко, что ее ветви почти касались воды. Она зазеленела и вот-вот должна была расцвести: уже наливались алые почки. В узком затоне не хватало места для двоих, и Эшерст дожидался своей очереди, растирая колено и оглядывая луг — камни, — всюду заросли терновника, полевые цветы, а дальше, на невысоком холме, буковая роща! Свежий ветер трепал ветви деревьев, солнце золотило траву, звонко заливались весенние птицы, и Эшерст думал о Феокрите, о реке Черрел, о луне и девушке с глазами прозрачными, как роса, думал сразу о стольких вещах, что ему казалось, будто он ни о чем не думает, а просто блаженно и глупо счастлив...

Во время долгого и обильного чаепития со свежими яйцами, сливками, вареньем и тоненьким домашним печеньем, пахнущим шафраном, Гартон рассуждал о кельтах. В то время воскрешали кельтскую культуру, и Гартон, считавший себя кельтом, пришел в восторг, открыв в семье своих хозяев кельтских предков. Растянувшись в мягком кресле, с самокруткой в зубах, он пристально уставился на Эшерста своими холодными, пронзительными, как иглы, глазами и превозносил утонченность валлийцев. Перебраться из Уэльса в Англию все равно что променять китайский фарфор на глиняную посуду. Конечно, Фрэнк, чертов англичанин, не обратил внимания на необыкновенную утонченность и очарование этой валлийской девушки. И, ероша свои еще мокрые от купания темные волосы, он стал объяснять, какой замечательной иллюстрацией могла бы служить эта девушка к произведениям валлийского барда Моргана-оф-Имярека, жившего в двенадцатом веке.

Эшерст, во всю длину вытянувшийся на коротком диване так, что свешивались ноги, курил темную трубку и, почти не слушая, видел перед собой лицо девушки, которая только что приходила с тарелкой свежего печенья. Смотреть на нее было все равно что любоваться цветком или каким-нибудь чудесным явлением природы, — и он смотрел на нее, пока она не опустила глаза, дрогнув

ресницами, и не вышла из комнаты тихо, как мышь.

— Пойдем на кухню, — предложил Гартон, — посмотрим на нее подольше.

В чисто выбеленной кухне с перекладин свисали копченые окорока; на окнах стояли цветы в глиняных горшках; по стенам висели ружья, портреты королевы Виктории, полки со старинной посудой, с медными и глиняными кувшинами. На узком деревянном столе были приготовлены миски и ложки, длинные связки репчатого лука спускались с потолка до самого стола. Две овчарки и три кошки лежали на полу. У очага тихо и смиренно сидели два мальчугана. По другую сторону очага коренастый светлоглазый и краснолицый юноша чистил ружье паклей, совершенно похожей по цвету на его волосы и ресницы. Тут же миссис Нараконб готовила в большой чашке какое-то вкусно пахнущее месиво. Еще двое парней с такими же, как у мальчуганов, раскосыми темными глазами, темными волосами и лукавыми лицами о чем-то тихо говорили, прислонясь к стене. Пожилой невысокий чисто выбритый человек в куртке из вельвета сидел на подоконнике и просматривал старый журнал. Одна Мигэн все время хлопотала: расставляла посуду, наливала сидр в кружки, быстро переходя от бочонка к столу.

Видя, что они собираются ужинать, Гартон сказал:

— Если можно, мы придем, когда вы поужинаете.

И, не дожидаясь ответа, оба вернулись в большую комнату. Но после ярко освещенной кухни, где было тепло, вкусно пахло, где сидели люди, их начищенная до блеска комната показалась им холодной и неудобной, и они уныло уселись в свои кресла.

— Настоящий цыганский тип у этих мальцов. Из всех один только парень, который чистил ружье, — настоящий англосакс. А эта девочка весьма интересный психологический объект.

Губы Эшерста дрогнули. Какой осел этот Гартон! «Интересный объект»! Она просто дикий цветок, которым радостно любоваться. «Объект»!

Гартон продолжал:

— В ней таятся необычайные эмоциональные возможности. Ее нужно только разбудить, и тогда она станет изумительной.

— А ты что, собираешься ее разбудить?

Гартон посмотрел на него и усмехнулся. «Вот грубая английская натура!» — как будто говорила его презрительная усмешка.

Эшерст запыхтел трубкой. Разбудить ее! Этот глупец довольно высокого мнения о себе. Он открыл окно и выглянул в сад. Сумерки сгустились до черноты. Стены сараев и конюшни смутно синели, сад казался непроходимой чащей. Из кухни

тянуло душистым дымом. Какая-то птица, очевидно, засыпавшая позже других, робко щебетала, испугавшись темноты. Из конюшни доносился топот и фыркание жующей лошади. А дальше лежала туманная пустошь, а еще дальше мерцали первые звезды, светлыми точками проколовшие темно-синее небо. Прокричала сердитая сова. Эшерст глубоко вздохнул. Как чудесно бродить такой ночью! Застучали некованные копыта, и на лугу показались три темных силуэта: жеребят гнали в ночное. Их черные мохнатые головы мелькнули над изгородью. Эшерст стукнул трубкой — и от снопа мелких искр они шарахнулись прочь и поскакали по лугу. Летучая мышь бесшумно скользнула в воздухе, еле слышно пискнув. Эшерст протянул руку — на ладони он ощутил росистую влажность. Вдруг он услышал над головой детские голоса, стук сброшенных башмаков и другой голос, нежный и звонкий, — очевидно, девушка укладывала мальчишек спать.

Четко послышалось: «Нет, Рик, нельзя класть с собой в постель кошку», потом хохот, взвизги, мягкий шлепок и смех, такой мелодичный и чистый, что Эшерст даже слегка вздрогнул. Кто-то дунул, и тонкие полосы света, словно пальцами хватавшие из окна темноту, вдруг исчезли. Все стихло, Эшерст отошел от окна и сел в кресло.

Колено болело, и на душе стало тоскливо.

— Ты иди на кухню, если хочешь, — проговорил он, — а я ложусь спать.

Эшерсту казалось, что сон подхватил его в бесшумном и быстром кружении, но на самом деле он не спал и слышал, как пришел Гартон. Еще долго после того, как Гартон, улегшись на другую кровать в низкой мансарде, стал прославлять тьму тонким носовым храпом, Фрэнк слышал крик совы. Если не считать ноющей боли в колене, он чувствовал себя отлично: жизненные заботы не омрачали его ночное бдение. И действительно, о чем было заботиться? Он только что получил диплом юриста, обладал недюжинным литературным талантом, семьи у него не было, и четыреста фунтов в год его обеспечивали вполне: весь мир был ему открыт. Кому какое дело, где он, что делает, куда отправится. Твердая постель давала ощущение прохлады. Он лежал, вдыхая ночные запахи, проникавшие сквозь открытое окно над его головой. В эту бессонную ночь воспоминание Эшерста были ясны и ласковы, а мечты — увлекательны. Правда, какое-то раздражение по отношению к Гартону давало себя знать, но это так часто бывает, когда пробудешь с человеком три дня подряд. Потом совершенно неизвестно почему перед глазами Фрэнка ясно встало лицо юноши, чистившего ружье, его

пристальный и вместе с тем удивленный взгляд, каким он их встретил в дверях кухни и потом посмотрел на девушку, которая принесла кувшин с сидром. Загорелое лицо, синие глаза с белесыми ресницами и волосы цвета пакли, врезались в память Эшерста так же прочно, как и просто свежее личико девушки. В темном квадрате незанавешенного окна начинало светлеть. Вдали сонно к глухо замычала корова. Снова все стихло, пока не совсем еще проснувшиеся дрозды не попытались робким щебетом разбить тишину. И, отведя глаза от светлеющего окошка, Эшерст крепко заснул.

На следующее утро колено Эшерста сильно распухло: их поход, очевидно, кончился. Гартону нужно было вернуться в Лондон, он ушел около полудня с иронической улыбкой, царапнувшей Эшерста. Но эта царапина сразу зажила, как только длинная фигура Гартона скрылась за поворотом. Весь день Эшерст отдыхал, вытянув больную ногу, на зеленой деревянной скамье, стоявшей на лужайке, где от солнца сильнее чувствовались запахи левкоев и гвоздики и чуть слышный аромат смородины. Он блаженно курил, мечтал, смотрел кругом.

Весной на ферме начинается настоящее пробуждение жизни. Из яиц вылупляется молодняк, распускаются почки, и люди с трепетом следят за